

КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ.

Разговор в литературном салоне.

Салон был в полном сборе. Говорили о г. Андреевиче.

— Кто такое и что такое г. Андреевич? — спросил г. Скорпионов, поправляя черепаховое пенсне и прикладывая задумчиво руку ко лбу, напоминавшему высокую скалу.

— Какъ, мосе Скорпионовъ, — воскликнула съ неподдельным изумлением хозяйка салона, — вы не знаете, кто такое Андреевич? Но ведь это известный современный критикъ, критикъ «Жизни».

— Критикъ жизни? Но чья же жизнь подверглась критикѣ г. Андреевича?

— Ахъ, да ничья. Опъ критикъ журнала «Жизнь», прекраснаго журнала съ новыми стремлениями и задачами и съ новыми критиками гг. Андреевичемъ, Соловьевымъ и другими. Неужели вы не знаете, не читали журнала «Жизнь»?

— Читать не читалъ, а слышалъ, что есть такой журналъ и что это одинъ изъ модныхъ журналовъ.

— Ахъ, что вы, что вы, мосе Скорпионовъ, помилуйте! Это самый серьезный журналъ, и однимъ изъ украшений его слѣдуетъ считать г. Андреевича.

— Можетъ быть, не спорю. Но все-таки же, повторяю, я желаю бы узнать, кто такое и что такое этотъ г. Андреевичъ, украшение жизни?

— Вы все шутите. Но я удовлетворю ваше желаніе безъ всякихъ шутокъ. Андреевичъ написалъ замѣчательную «Книгу о Горькомъ»?

— О горькомъ? Почему же о горькомъ, а не о сладкомъ?

— Ахъ, вы опять съ шутками и каламбурами, мосе Скорпионовъ! Опъ написалъ книгу о писателѣ Горькомъ, помните? Или Чеховѣ, о Чеховѣ!

— Будьте здоровы.

— Для чего это вы мнѣ говорите: будьте здоровы?

— Да вы сейчасъ изволили два раза шпнуть и даже съ какой-то грустью, сдѣлали атакъ «чихъ-уны!» Такъ вотъ и я скажу: будьте здоровы.

— Воже мой, мосе Скорпионовъ, вы нежизнены! Да переставьте же шутить. Я сейчасъ не чихнула, а произнесла два раза фамилію писателя, знаменитаго не манье, г. Горькій, — фамилію Чехова.

— А! Извините. Какія однако же страшны фамиліи у тверезныхъ писателей! То водку напоминаютъ, то чиханье. Впрочемъ, это все равно. Но все-таки же, кто такое и что такое г. Андреевичъ?

— Въ «Книгѣ о Горькомъ и Чеховѣ», наданной на-дняхъ и представляющей не что иное, какъ перепечатку критическихъ статей г. Андреевича изъ «Жизни», онъ самъ сообщаетъ о себѣ весьма интересныя свѣдѣнія. Онъ говоритъ, что онъ принадлежитъ поколѣнію восьмидесятихъ годовъ. Это поколѣніе г. Андреевичъ, въ качествѣ его сына, знаетъ «до точности». Основываясь на такомъ точномъ знаніи поколѣнія восьмидесятихъ годовъ, г. Андреевичъ радуется, что оно исчезло. «Я радъ отъ души, что оно прошло, похоронено, забыто. У меня звучать въ ушахъ его дикіе вопли, его требованіе быть лежащимъ до смерти, его хвастовство безпринципностью и даже безнравственностью. Съ какой удивительной наглостью люди (т. е. люди поколѣнія восьмидесятихъ годовъ) объявили во всеуслышаніе, что имъ надо только жрать и жрать, что они просто-на-просто негодны, но даровитые и талантливые негодны».

— Дѣйствительно, если поколѣніе восьмидесятихъ годовъ было таково, то надо радоваться, что оно похоронено. Но жалъ однако, что оно похоронено не все, что остаются еще его отпрыски: напримеръ, г. Андреевичъ. Неужели онъ тоже такой, какъ и прочіе сыны вымершаго поколѣнія восьмидесятихъ годовъ, неужели онъ желаетъ только — «жрать и жрать»?

— Ахъ, вовсе нѣтъ. Опъ желаетъ быть критикомъ.

— Развѣ желаніе однако жраться и удовлетвореніе этого желанія способствуетъ выработкѣ критическихъ качествъ?

— Да, мосе Скорпионовъ, да, способствуетъ. «Литературная эпоха восьмидесятихъ годовъ», — говоритъ г. Андреевичъ, — была во многихъ отношеніяхъ пренаипаскуднѣйшая...»

— Какъ вы изволили выразиться?

— Пренаипаскуднѣйшая. Но это не я такъ выражаюсь, а г. Андреевичъ.

— Пренаипаскуднѣйшее и пренаиграмотное выраженіе для критика!

— Да, я тоже такъ думаю. Такъ вотъ эпоха восьмидесятихъ годовъ была «пренаипаскуднѣйшая: было въ избыткѣ и наглости и самодовольства. Но смѣшно и странно не видѣть, что это была въ то же время и критическая эпоха очень не малаго значенія. Тутъ критика происходила въ темнотѣ и сумбурѣ, но все же происходила критика».

— Стало быть г. Андреевичъ, какъ единственный быть можетъ до сихъ поръ еще не исчезнувшій и не погребенный экземпляръ поколѣнія восьмидесятихъ годовъ, является въ вѣкоторомъ родѣ представителемъ пренаипаскуднѣйшей эпохи, представителемъ наглости и самодовольства, представителемъ критики, происходившей и происходящей въ темнотѣ и сумбурѣ?

— Я не знаю. Хотя, кажется, онъ самъ такъ провозглашаетъ и объясняетъ.

— Пренаипаскуднѣйшій представитель и пренаипаскуднѣйшая критика,

съ которой можно поздравить «новую» литературу!

— Да, да. По толкованіямъ г. Андреевича эта критика была «не сознательная или прямо призванная правда истины».

— «Правда истины?» Масло масла!
Это действительно «тонный сумбузь».
Матфе.

— «Эта критика стремилась прежде всего установить духовную независимость и свободу человека».

— Позвольте, такое стремление как-
будто не заслуживает имени пренапа-
судивающего?

— Да, это было бы такъ, если бы такое стремление понималось въ ясномъ, а не сумбурномъ смыслѣ.

Но, во взаимоотношениях г. Андреевича, оно понималось иначе, оно принимало уродливую форму. Для одного «полная духовная свобода в независимость» значила: «влиять мне на все»; для другого — «хочу быть произвождцем и мерзавцем и буду мне во всем духа своего».

— Вот оно как! Но позвольте узнать, неужели г. Андреевич, как один из сыновей претвращенщины и претвращенщины сокольника, придерживается принципа плебана на все?

— Право, не могу вамъ объяснить этого, — сказала хозяйка съ некоторымъ недоумѣніемъ.

— А я могу, — вступил в разговор г. Крокодилыч, бледный молодой человек, с огненно-рыжими волосами, которые поднимались вокруг его головы, «как шлем дикообраза», по шакапировскому выражению.

— Ага, пожалуйста объясните, — со вздохом и улыбкой облегчения поощрила хозяйка г. Крокодила.

— Видите въ чемъ дѣло. Г. Андреевичъ не совсѣмъ вѣрно объяснилъ, что прераваискусудѣвшее поколѣние восьмидесятыхъ годовъ похоронено и уничтожено, хотя онъ и знаетъ, во что онъ увѣряетъ, это поколѣние до точности. Оно можетъ быть частью и уничтожилось въ томъ смыслѣ, что нѣкоторые представители его, слишкомъ уже увлеклись склонностями къ наглости, къ плеванию на все и къ прочимъ прелестямъ, теперь превратились въ героевъ, какихъ было и прежде много на Руси: въ Чичиковыхъ, Поведревыхъ, Расплюевыхъ, Кречинскихъ и тому подобныхъ. Превратившись въ эти «старые вѣчно-юные» типы, вообще для всѣхъ поколѣній прошедшаго, настоящаго и даже будущаго, они конечно утратили уже интересъ спеціальныхъ представителей «прераваискусудѣвшей эпохи». Но крокъ этихъ, такъ сказать, уже чересчуръ крупный: представители сгались еще сыны прераваискусудѣвшей эпохи, болѣе малкіе и не выработавшіеся въ упомянутые типы. Эти господа совсѣмъ не исчерпаны, совсѣмъ не похоронены, а напротивъ процвѣтаютъ именно теперь всею въ повою: и въ обществѣ, и въ литературѣ. Они сохраняютъ вѣнчотныя черты современнаго

десятилетий годов: стремление к сумбуру, наглость вообще и специальная наглость в проповеди сумбура, признаваемого им во владение или замечательного новшества за «правду истин», или, как изволят выразиться мы, г. Скоршоновы, за «наслаждение». Я думаю, что не ошибусь, если приписую г. Андреевича к экзотам, а не к индейцам. В этом роде, к экзотам, к индейцам, сохраняющим некоторые традиции и дух «пренаслаждутыйшой можи» и проламывающим по возможности этот дух и эти традиции в той мере, в которой они работают, т. е. в области такт-написанной литературы или, вразе, сумбуром критики.

— Но это надо выяснить, мосье Крокодилов, — сказала хозяйка, как бы желая смягчить резкое нутро сурового г. Крокодилова.

— Конечно. Я сейчас напишу. Позвольте спросить, что такое эта «Книга о Максиме Горькомъ и А. П. Чеховѣ»? Критику журнала «Жизнь» довелось напечатать двѣ развѣзныя и сумбурныя статьи о двухъ современныхъ белотристахъ и вотъ онъ называетъ эти двѣ статьи «книгой»? Но знаю, какъ съ точки зрѣнія символъ «превращенскудыйшей эпохи», но съ точки зрѣнія обыкновенныхъ литературныхъ критиковъ этотъ достаточно наглый титулъ для обычныхъ журнальных кронажій въ критическомъ родѣ. Я не говорю уже о томъ, что о такихъ, въ сущности даже еще несовсѣмъ сформировавшихся писателяхъ, какъ гг. Горькій и Чеховъ, «книги» написать нельзя. По крайней мѣрѣ истинный критикъ «книги», я думаю, о нихъ написать не могъ бы уже просто потому, что не сталъ бы писать, предвидя, что материала для «книги» не хватитъ и придется разводить кисель на седьмой водѣ. Но гимназистъ, воображающій, что нѣсколько страничекъ пустопорожнихъ фразъ и нѣмного краснорѣчія изъ-за выдуманнаго лица составляютъ серьезный трудъ,— гимназистъ, разумеется, не задумался бы написать о Горькомъ и Чеховѣ хоть двадцать книгъ, на всякій разсказъ по одной. И всѣ эти «книги» были бы вѣроятно столь же серьезны и содержательны, какъ «книга» г. Андреевича.

мнѣ самому понравились произведенія Горькаго. Конечно это очень упрощенный приемъ критики, но такъ какъ я живу въ той же обстановкѣ и тѣми же думами и заботами, какъ и большинство современниковъ, то естественно, что элементы моего мышления и настроенія должны быть приблизительно такіе же, какъ и у нихъ. Следовательно, говоря отъ себя, я тѣмъ самымъ говорю отъ многихъ». Видите, какъ это прямо, просто и какъ... въ нагляднѣйшій вкусъ «пренапастурдѣвшей эпохи». Оно конечно — естественно, что «элементы мышления» у г. Андреевича приблизительно такіе же, какъ у многихъ современниковъ, но все же надо бы опредѣлить какихъ именно современниковъ. Представьте себѣ, что «многие современники», разумеется авторомъ, принадлежатъ къ разряду вѣнчады или неучей: вѣдь такія у насъ не то что много, а сколько угодно. Если у г. Андреевича будутъ одинаковые «элементы мышления» съ этими современниками, то, мнѣ кажется, это еще не дастъ ему права на писаніе критическихъ «книжекъ». Но какъ бы тамъ однако же ни было, а вотъ беру «книжку о Максимѣ Горькомъ» и читаю первые страницы тѣхъ «элементовъ мышления» отъ этого писателя, какіе выложитъ изъ своихъ годовыхъ г. Андреевичъ:

«*Adieu c'est une éternité*». «*Non, adieu, c'est une révolution*», отъѣзжалъ Людовикъ XVI.

Да, это литературная революція. Еще недавно сравнительно у насъ былъ періодъ своего Kulturkampf'a, періодъ торжествующей огромной вѣры въ силу знанія и его способности исклѣять всякое живое зло. Это — шестидесятые годы, отчасти и семидесятые. Потому эта торжествующая вѣра пошатнулась, и вместо «Материи и Силы» крупіе люди стали зачитываться «Иррадиацией» и «Искушеніемъ св. Антонія». Вся сила чувства, вся тоска по чистой, хорошей жизни была направлена могучей упанков Толстого въ одно узкое русло — служенію добру, служенію собственному нравственному усовершенствованію.

Прошло и это время. Мы можемъ смотрѣть ужъ на него какъ на наше недавнее прошлое и удивляться его напуганности. Эта напуганность отрывала людей отъ общества и науки, вставила имъ дрожать передъ собственной глупостью, спать чуть ли не въ пробахъ и носить кандалы всякаго рода мелочныхъ обязательствъ. Въ этомъ была видна робость мысли, страхъ передъ чѣмъ-то, что не поддается даже опредѣленію.

Прежде чѣмъ продолжать цитату, позволимъ себѣ маленькое замѣчаніе по поводу упомянутого г. Андреевичемъ «Искушенія св. Антонія» Флобера. Повѣдному г. Андреевичъ полагаетъ, что это произведеніе, исполненное мистицизма. Нигъ, по мнѣнію критики, увлекались у насъ тогда, когда потеряли вѣру въ силу знанія, въ материалистическую теорію. Такое предположеніе о смысле и духѣ «Искушенія св. Антонія» показываетъ, что г. Андреевичъ не читалъ этой книги, не имѣетъ о ней ни малѣйшаго понятія и говоритъ совершеннѣйшій вадоръ. Во-первыхъ «Искушеніемъ св. Антонія» у насъ въ Россіи (да и во Франціи) читающее большинство никогда не увлекалось, и это великолѣпное произведеніе не имѣло успѣха у такъ-называемой публики: его цѣнили лишь немногіе знатоки литературы. У насъ

«Искушеніе св. Антонія» было переведено (съ выпускомъ одной главы) въ «Литературномъ Журналѣ» и затѣмъ, сколько я знаю, никогда аготъ переводъ не былъ наданъ отдѣльно. Затѣмъ «Искушеніе св. Антонія» если кого увлекало, то именно только тѣхъ, кто склоненъ къ идеямъ материализма: вѣдь эта поэма представляетъ по духу и смыслу глубокое отрицаніе всѣхъ религій, вѣдь она написана отнюдь не идеалистомъ, не мистикомъ, а самымъ убѣжденнымъ реалистомъ и материалистомъ. Вѣдь это почти сатира на религиозныя заблужденія всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. Приводя «Искушеніе св. Антонія» въ качествѣ произведенія, увлеченіе которымъ будто бы характеризуетъ періодъ реакціи противъ материализма, г. Андреевичъ попадаетъ прямо... пальцемъ въ небо... Продолжаю цитату изъ «книжки о Максимѣ Горькомъ»:

Горькій сказалъ намъ: «Труссы вы» и водворилъ въ литературу своего босика.

Мы смотримъ на этого босика, мы любуемся на него, прислушиваемся къ его словамъ, удивляемся ему. Въ насъ есть что-то странное, необычное; онъ точно пришелъ къ намъ откуда-то издалека, изъ степей и льсовъ, и рассказалъ намъ о томъ, какъ тамъ свѣтитъ солнце, какъ тамъ поитъ птицы, какъ тамъ не дрожатъ люди. Мы отскочили на этотъ приманъ очень осторожно разумѣется и очень благовопитанно конечно — не стали босиками, — о чѣмъ и говорить нечего, — но все же отскочили, и въ душѣ каждого изъ насъ пошевелилась мысль, что «да, пожалуй, слыхивомъ уже много вольныхъ и невольныхъ стѣсненій наложилъ мы на свое культурное существованіе, слыхивомъ туго заткнулись всякими условностями, всякими приличіями и обычаями и не мѣшало бы чувствовать себя по-свободнѣе». Это не Богъ знаетъ, что такое особенное, но когда вся жизнь человека огорожена пазами всякихъ правилъ, а страхъ — мучительный, пранижающій страхъ передъ угрозами австрашнато кня — едва ли не составляетъ сущности его бытія, то пожалуй на первый разъ достаточно и этого.

«Труссы вы», — сказалъ Горькій и показалъ намъ своего босика. Быть можетъ его босикъ — прирактъ, быть можетъ такого босика вы не найдете ни въ одной трущобѣ, но это безразлично. Равнѣ люди когда-нибудь жили, да и теперь еще равнѣ они живутъ одною дѣятельностью?

По приведенному началу «книжки» г. Андреевича можно видѣть, что въ его критикѣ достаточно, если позволять такое выраженіе, наглаго шаяса, достаточно вадора, но мало смысла. Никакой революція г. Горькій не произвелъ, «водворилъ въ литературу своего босика». Революція въ нашей литературѣ производилъ Пушкинъ, Гоголь, Толстой, т.-е. гениальные писатели. Признавать г. Максима Горькаго подобнымъ гениемъ — это значитъ просто говорить глупости. Г. Максимъ Горькій, разумеется, талантливый писатель, но его талантъ и его умственное развитіе отнюдь не такой силы и не такихъ размѣровъ, какіе необходимы для того, чтобы произвести «революцію» въ литературу. Простому читателю, не только критику, совершенно ясно, что талантъ г. Горькаго вращается въ узкой и специальной сферѣ довольно однообразныхъ впечатлѣній, нагнанныхъ той средой, въ которой, волею судьбы, ему пришлось вращаться въ годы своего дѣтства и

своей юности. Благодаря наблюдательности и живому поэтическому темпераменту, г. Горькому удалось подметить и воспроизвести в немножко впрямую фантастической окраски несколько оригинальных типов этой среды. Но даже этого таланта г. Горького не идет. Всякий раз, как г. Горький дѣлает попытку изображенія дной дѣйствительности, происходит видимый конфуз для талантливаго изобразителя босаяков: онъ сочиняетъ грубыя и вздорныя вещи, въ родѣ «Вареньки Олесовой» или послѣдняго его «естественно-разговорнаго» романа, который онъ не могъ даже окончить, вѣроятно сознавъ его фальшь. Да и въ разсказахъ, талантливо и удачно воспроизводящихъ среду, хорошо знакомую автору, г. Максимъ Горькій очень нерѣдко изъ художника превращается въ мастера «малярнаго цеха», какъ онъ съ нѣкоторой похвальбой именуетъ себя въ своей «автобиографіи». Превращивать такой талантъ въ гениаль, производящихъ литературные перемороги, могутъ только господа, по своему умственному развитію и литературному образованію находящіеся на степеняхъ «цеховыхъ мастеровъ» критики. Достаточно для г. Горького, если онъ будетъ поставленъ въ рядъ такихъ крупныхъ второстепенныхъ писателей, какъ Гаршинъ, Глѣбъ Успенскій, Лѣсковъ, В. Стѣцковъ, Левитовъ, Ник. Успенскій, Короленко, ну, пожалуй, Чеховъ. Впрочемъ, если говорить по строгой справедливости, и до Чехова-то еще не дошелъ г. Горькій: талантъ Чехова и оригинальнѣе, и шире, и глубже, да и серьезнѣе, выработанныѣе, продуманныѣе. Вотъ, стало быть, какъ обстоитъ вопросъ о значеніи г. Горького. А кричать съ мнимымъ нахосомъ вздоръ о томъ, что Горькій сказалъ намъ: «Трусъ вы» и водворилъ въ литературу своего босаяка, — кричать подобный вздоръ можно сколько угодно. Только вздоромъ этимъ никого не плѣняешь и не удивишь теперь. Даже я думаю сыновъ «приращаскудѣвшей» эпохи восьмидесятихъ годовъ не удивишь и не плѣняешь, потому что все-таки эти сыновья уже повзрослѣли, кой-чему поваучившись, «плещутъ на все» поосторожнѣе и хотя немного усвоили себѣ не одну собственную ихъ литературу и критику, но также и ту литературу и критику, которая существовала еще до ихъ появления.

Пусть г. Андреевичъ смотритъ на босаяковъ г. Горького какъ на какихъ-то героическихкихъ существъ, любитъ ихъ, прислушивается къ ихъ словамъ, удивляется имъ. Это занятіе довольно забавное, пустое и не рекомендуемое критическую проницательность и умственное развитіе и образованіе г. Андреевича. Впрочемъ это бы еще не беда, если бы критикъ «Жизни» забавлялъ себя самого пустымъ занятіемъ: онъ своимъ крикомъ о революціонномъ значеніи въ литературѣ г. Горького оказываетъ этому писателю плохую услугу. Г. Андреевичъ очевидно забылъ полученіе басни о томъ, что

«хотя услуга намъ при нуждѣ дорога, но за нее не всякъ уиѣетъ платиться», что не-кстати услужливый... другъ «опаснѣе врага». Господа услужливые критики въ этомъ отношеніи самые опасные друзья для авторовъ. Именно съ этихъ поръ, какъ критики въ родѣ г. Андреевича начали съ нахосомъ провозглашать о великомъ литературномъ значеніи г. Горького, о томъ, что г. Горькій небывалый писатель, гений, прямо прыгнувшій выше Толстого, что его босаяки и босачество нѣкое откровеніе, какое-то новое слово, — съ этихъ поръ г. Горькій и принялся сочинять «цеховыя» произведенія въ родѣ «Мужика». Съ этихъ поръ читатели стали пожимать плечами и поговаривать въ такомъ родѣ: «Что это однако тамъ друтъ какие-то господа о Горькомъ и его великомъ значеніи? Кричатъ, какъ полоумные одно и то же: босаяки, босаяки, босаяки! Урра! Фу, даже какъ-то совѣстно читать и слушать эти глупости».

— Можетъ быть все это и правда, что вы говорите, мосье Крокодилонъ, — замѣтила хозяйка, но все-таки вы судите слишкомъ строго о г. Андреевичѣ. Я думаю, даже самый жестокой мосье Алигаторовъ былъ бы снисходительнѣе насъ? — прибавила она, обращаясь съ любезной улыбкой къ г. Алигаторову, который молча прислушивался все время къ разговору и жевалъ собственную бороду съ наивероятнѣйшимъ ожесточеніемъ.

— Да, я былъ бы снисходительнѣе — прогмѣхъ г. Алигаторовъ адскимъ голосомъ: — я бы совсѣмъ не сталъ говорить о такихъ пустякахъ, какъ критическія упражненія разныхъ господъ Андреевичей, которые сулятъ читателямъ на обложкѣ «книгу», а вмѣсто этого подносить фигу!

Хозяйка салона даже угнетенно прервала отъ такого жестокаго и рѣшительнаго приговора г. Алигаторова.

В. Тургеневъ.

PS. По поводу моего прошлаго фельетона я получилъ слѣдующее письмо:

Съ большимъ удовольствіемъ я прочиталъ вашъ интересный фельетонъ, напечатанный въ «Нов. Яр.» за № 8833. Однако въ этомъ фельетонѣ вырвалась досадная ошибка: Тургеневъ ни въ какомъ случаѣ не могъ слушать въ Берлинѣ два семестра у Гегеля, какъ вы сообщаете, ибо Гегель умеръ отъ холеры въ 1831 году, а Тургеневъ первый разъ поѣхалъ за границу въ 1836 году. П. Яковлевъ.

Очень благодаренъ автору письма за поправку, но ошибка моя собственно не ошибка, а скорѣе неточное выраженіе. У меня сказано, что Тургеневъ «даже Гегеля въ Берлинѣ слушалъ чуть ли не цѣлыхъ два семестра». Говоря такъ, я разумѣлъ, что онъ слушалъ философію Гегеля. Тургеневъ дѣйствительно слушалъ лекціи объ этой философіи въ Берлинѣ въ продолженіе двухъ семестровъ. Лекціи эти читалъ ученикъ и послѣдователь Гегеля Вердеръ (См. бюгр. Тургенева, приложенную къ первому посмертному изд. его сочиненій).